

СОЗВЕЗДИЕ БОЛЬШОГО ЖИРАФА

Повесть

1

Толик рассказал бабушке все городские новости, передал мамини гостинцы и наказания, повесил на гвоздь над кроватью самодельный телескоп в картонном футляре, запихнул рюкзак на печку, которую не топили уже лет пять, и по скрипучим порожек крыльца вышел на улицу.

Одинокие пыльные куры бродили по серой заезженной дороге, лениво ковыряясь в сухом коровьем помете, в хилой траве на обочинах. Старый одноглазый петух разомлел от жары и зарылся в пыль возле калитки. Вялый гребешок его свесился набок, и от этого петух походил на подвыпившего пенсионера.

Толик помнил его еще драчливым цыпленком, шустрым, голенастым, с куцыми неразвитыми крыльями. Лет пять-шесть назад он носился по бабушкиному двору, убегал, вытянув шею, от кошки, совался в палисадник, задираясь к сверстникам своим, нахохливаясь и выпячивая узкую грудь, и даже пробовал с наскока топтать взрослых кур, за что не раз бывал битым прежним петухом да и самими несущками.

Бабушка, однако, держала этого кочета сверх всякого срока, объясняя тем, что в нем мужского духа много, на двоих, и куры до сих пор неслись хорошо.

Всякий новый раз, приезжая в деревню, Толик на несколько дней как бы становился маленьким. Воспоминания словно отбрасывали его назад, в прошлое или позапрошрое лето, и требовалось время, чтобы привыкнуть, по тем же воспоминаниям, только в обратном порядке, возвратиться к настоящему, к теперешним ощущениям и восприятию медленного деревенского мира. Все в этом мире как-то мало изменялось: земля в палисаднике каждый год неумоимо рождала одни и те же огурцы, редиску, лук, помидоры, капусту; в комнате пылились по стенам прежние фотокарточки; сарай, как пришел когда-то в ветхость, — может быть, еще до появления Толика на свет, — так и пребывал в этом глухом, замшелом состоянии год от года; да и сама бабушка, как и все старики и старушки, тихо, незаметно старилась, растрачивая постепенно в бесконечных домашних заботах оставшуюся энергию тела и души, а Толику некогда было замечать новые морщины на ее лице.

Улица была безлюдна, и только солнце смотрело с безоблачного неба ослепительным глазом. И видело оно спрятавшиеся в зелени домики села Борино, видело окрестные поля, дальний лес, казавшийся Толику темно-синей полоской по горизонту, и вообще — весь белый свет, потому что надо было смотреть, чтобы была жизнь.

Когда-то отец показывал Толику через закопченное стекло солнечное затмение. Солнце походило на птичий глаз, подернутый пленкой века. Так смотрят на мир умирающие голуби. И солнце тогда показалось Толику умирающим. Зато после и до сих пор, куда бы ни забрел, хоть в городе, хоть у бабушки в деревне, Толик везде ощущал на себе этот безразличный солнечный взгляд, и само солнце было для него живым. Может быть, поэтому Толик никогда не чувствовал себя одиноко. Правда, его смущало то обстоятельство, что солнце и другие звезды светят миллиарды лет, а остальное живое на земле рождается и исчезает скоро. Он часто думал о том, что хорошо бы продлить жизнь всем обделенным ею, — например, бабушке или ее кочету, — но вместе с тем понимал, что так не получится, и в этом видел несправедливость устройства природы.

Три года назад мать отвела его во Дворец пионеров. «Чтобы меньше по улицам шлендал», — объяснила она.

Толик выбрал астрономический кружок.

Сначала было скучно, потому что на занятиях говорили о звездах как о чем-то раз и навсегда пересчитанном и названном, будто о музейных чучелах. А когда Толик сказал, что звезды похожи на веснушки, на него посмотрели укоризненно и посоветовали записаться в кружок поэзии. Но потом там же во Дворце пионеров появились новые друзья, а с ними книги, журналы и просто интересные разговоры, появилась научная фантастика, и дни стали длиннее, а ночи короче. И наконец, Толик построил свой телескоп, для чего пришлось разобрать объектив подаренного отцом фотоаппарата и достать кое-какие линзы и приспособления. Телескоп получился хороший, не хуже, чем был когда-то у Галилея, удалось даже убрать часть аберраций. Только вот наблюдать было неоткуда. Из окошка городской квартиры открывался лишь небольшой участок неба, а с чердака Толика гнали соседки, которые приноровились сушить там белье. Толик взял телескоп к бабушке. И шума меньше, и воздух чище, и посторонний свет не мешает. Деревня все-таки.

В тени кустов сирени лежал козленок с розовыми губами и что-то жевал.

Толик сел рядом.

«Бе-е-е...» — тоненько сказал козленок, уставившись на него бледно-голубыми глазами.

Толик погладил его по белому шерстяному лбу, на котором уже выпирали бугорки будущих рогов.

— Скучно тебе?

Козленок встал на ноги, и Толик заметил, что шею его охватывает тряпичный ошейник, к которому привязана веревка. Вербка убежала в сторону, скрываясь в траве, и кончалась колышком, вбитым в землю.

Толик решил покормить козленка и пошел в дом. Он знал, что деревенские животные любят хлеб, посыпанный солью.

Бабушка положила на колени недовязанный носок с торчащими во все стороны соломинками спиц.

— Нету товарищев-та твоих?

— Я козленка хочу угостить...

— Погодки... У вечеру соберутся. Все, как один, вон там рассядутся, на бревнушках...

Толик забыл о козленке, сел возле бабушки на табуретку.

— А сейчас, ба, спят, что ли?

— Спя-я-ят?

— Ребята-то?..

— Да на кирпичном небось глину месют...

— И Витька Лохов?

— Должно, там. Иде ж ему быть-та?.. Ай, нет! Давеча матерю его видала, сказывала, у техникум Витькю отдает. А можа, так болтала... Я почем знаю..

В тесной душной комнатке конторы туда-сюда сновали, жужжа на все лады, мухи. Толик наблюдал, как они роятся на грязном окне, на электрической лампочке, свисающей с высокого потолка, на алюминиевом бачке с питьевой водой. Он знал, что деревенские мухи не то что городские — куда свирепее! По утрам, чуть свет начинал теплиться в окнах, мухи набрасывались на него, сонного, и кусали, больно кусали, точно самого лютого врага своего. И никакие липучки не помогали. Одно время Толик даже думал, что из-за мух все деревенские встанут ни свет ни заря.

Дошатый пол конторы без умолку гулко бубнил что-то свое, недовольное и тревожное, под тяжелыми, седыми от пыли сапогами трактористов, шоферов и комбайнеров.

— Демьяныч, когда солярку дашь? До обеда не дотянем!

— К обеду и будет, — оторвался от голубых разграфленных бумаг на столе нервный дядька с потным красным лицом. — Тебе чего? — повернулся он к Толику. — Ах, да... Ну, что ж... На кирпичном люди нужны. Долго здесь проживешь?

— Я из города... — встал Толик с лавки. — К бабушке приехал. Месяца полтора... два...

— Хорошо. А может, на ток все-таки станешь? Там и заработки соответственно... — со слабой надеждой в голосе спросил дядька.

— К ребятам хочу... Веселей.

— Веселей, веселей... К бабушке... Ладно. Иди к Завалишину — бригадир там такой, — скажи, управляющий прислал. Будешь работать. Сколько, говоришь, лет-то тебе?

— Пятнадцатый...

— Пойдет.

Завод только назывался заводом, потому что в Борино всё любили подводить под масштабные понятия. Например, рубленую пятистенку рядом с конторой венчала вывеска: «Универмаг». Душистые кирзовые сапоги, книги, голубые кальсоны соседствовали там на полках и прилавках с крупой, маргарином, водкой и мятыми конфетами-подушечками. Так и завод на деле оказался приземистым каменным домом, в котором была печь для обжига, и стайкой деревянных барачков без окон, со ржавыми штыками громоотводов на крышах. Делали там красные рыхлые кирпичи.

Только они не сразу становились такими кирпичными.

Сначала шофер Сенька привозил на самосвале сырую глину из карьера и вываливал ее в яму.

— Эй, потише там! Так и похоронишь! — кричали снизу самые рослые мальчишки, которым доверяли трудную работу — швырять глину лопатами на транспортер.

— Ня бойсь! — скалился Сенька. — Откопаются.

Резиновая лента транспортера поднимала глиняный ручеек и сбрасывала в бункер, где со всех сторон глину начинали тискать, резать, прокручивать ножи глиномешалки.

— Оттаскивай! Чего чешешься? Ай блохи завелись? — весело кричал на всех Витька Лохов, который стоял у маленькой проволочной гильотины.

Жирный, лоснящийся от избытка воды глиняный язык выползал из системы валиков, прессов, увлажнителей, требовал, чтобы скорее его разрезали на будущие кирпичи. И каждые три секунды струна гильотины рассекала плотное тело его, победно звеня о металл приемника, и отваливала новые и новые порции.

Витька хватал своими лапищами сразу по три-четыре кирпича и клал на промежуточную стойку перед собой.

Вагонетки сновали, как поезда игрушечной железной дороги. Узкие рельсы, проложенные прямо по земле, прогибались под их тяжестью.

Напарницу Толика звали Наташей. В их обязанности входило укладывать нарезанные кирпичи в вагонетку, пересыпая каждый ряд опилками, которые попадали за шиворот, в глаза, в волосы, а после отвозить все это в дощатые длинные бараки-сушилки. Там надо было разгрузиться, выстраивая шаткие сквозные стенки из кирпичей, чтобы они лучше сохли перед обжигом. А потом позволялось разогнать пустую, подпрыгивающую на изгибах рельсов вагонетку, плюхнуться в нее на ходу вслед за Наташей и с грохотом и визгом мчаться за новым грузом. И еще требовалось во что бы то ни стало опередить пять других вагонеток, потому что было соревнование.

Первую рабочую неделю Толик жил, как во сне. Не хотелось ни звезд, ни телескопа, ни вечерних посиделок с ребятами и девочками на бревнах за сараями. Усталость валила спать.

«Давай! Давай!..» — орал загорелый, голый по пояс Витька.

И Толик хватал жирные, выскальзывающие кирпичи, доносил на вытянутых руках до вагонетки и осторожно опускал, чтобы, не дай бог, не помять углы и ребра глиняного бруска. А Наташа сыпала опилки.

Уже с утра, со второй вагонетки руки тянуло к земле, ломило в пояснице и пот застилал глаза. Толик начинал ждать обеда, чтобы отвлечься, выйти из неумолимого колеса: погрузка — дорога к сушилке — выгрузка — порожний ход; чтобы нехотя, безо всякого аппетита сжевать три яйца вкрутую, сваренных бабушкой утром, кусок яблочного пирога или десяток блинцов с сахаром и запить все это молоком из зеленой бутылки, заткнутой туго свернутой газетой. А потом... Потом было главное. Потом Толик уходил в гороховое поле, что начиналось за дальними сушилками, падал на кучу подсохшей ботвы и смотрел в небо, чувствуя на себе жаркий взгляд солнца, слыша, как гудят натруженные мышцы и учащенно колотится сердце.

Ребята еще находили силы в обеденный перерыв поиграть в волейбол, натянув сетку между двумя столбами электрической временянки. Толик слышал их крики, тугие удары по мячу, и ему казалось, что он никогда не сможет к ним присоединиться.

А после обеда — все сначала, до вечера, когда можно было по горло окунуться в бочке с мутной, нагретой за день водой,» смыть опилки с разгоряченного тела, обрызгать проходящих мимо девчонок и идти домой, к бабушке,

чтобы лечь на кровать с периной, с блестящими никелированными шишечками на спинках и заснуть, раствориться до следующего утра.

Так прошла первая неделя, а потом Толик втянулся, стал даже ходить в клуб с ребятами, а когда совсем темнело — забираться на пыльный чердак и смотреть в телескоп на небо.

А Наташа? Девчонка всего на два года старше, а поди ж ты!.. Откуда что берется? Наташа, когда Толик выбивался из сил, сменяла его на погрузке, наравне с ним толкала тяжелую вагонетку, и стенки ее в сушилке росли вдвое быстрее. Да и работала она сноровисто, с припевками, с шутками, точно избу веником мела.

Один раз обрушилась Наташина стенка. Все надо было выстраивать заново. Толик выругался про себя и со злостью кинулся разбирать кирпичи, а Наташа засмеялась, присела на корточки, будто и не собиралась работать, и спела вдруг:

Шиковала, шиковала — Перестала шиковать: Много шику накопила — Стало некуда девать!

Потом сказала серьезно:

— Иди, Толечка, загружаться начинай. Догоню.

И догнала. А в сушилке, когда прикатили следующую вагонетку, был полный порядок.

Толику сначала стыдно было отставать от нее, но после он махнул рукой: «Двужильная она... Деревенская...»

Наташа была полная, розовощекая и курносая. Из-под белой косынки выбивались черные волосы и свисали пляшущими колечками у висков. Иногда, видимо за цвет волос, ее называли Цыганкой. Смеялась она надо всем и надо всеми. И когда Толик спотыкался, толкая вагонетку, и когда Витька ронял кирпичи, не успевая за скорой работой машины, и когда Сенька-шофер отпускал очередное заковыристое ругательство. И смех этот не обижал никого, потому что все чувствовали, что шел он от души. И Толик часто замечал за собой, что с Наташей хочется говорить только о чем-нибудь веселом и добром.

2

Солнце лупило в окошко, розовым потоком струилось через пространство комнаты. Мухи, попадая в этот поток, словно увеличивались в размерах и походили на каких-то райских бабочек. С улицы голосили петухи: «Нас зарежут! Нас зарежут!..» И щебетали птицы.

Утро было как утро, разве что легче разомкнулись веки, спаянные сном, быстрее размялось вялое тело и вкуснее обычного показался сготовленный бабушкой завтрак: окрошка, заправленная самодельным хлебным квасом, да булка с молоком.

За Толиком зашел Витька Лохов, и они пошли на завод.

Витька жил через два дома от бабушки. Толик знал его давно, уж и не помнил сколько. Ведь каждое лето родители отправляли Толика в деревню на все каникулы. Да что каникулы? У бабушки он и ходить научился, и первые слова его она услышала.

И Витька Лохов был для него первым товарищем на всей улице. Но сначала они дрались. Каждое лето начиналось с выяснения, кто сильнее. Обычно побеждал Толик. Витька рос неповоротливым, гладким крепышом, и уличное прозвище его было — Жиртрест. Про таких детей всезнающие тетеньки в их городе говорят уважительно: «Упитанный ребенок!»

Толику не стоило труда, выворачиваясь из Витькиных неуклюжих объятий, сделать ему подножку и повалить на землю. На этом выяснения кончались, и дружба продолжалась.

Уже с весны Витька ставил какие-нибудь опыты в своем огороде. Для этого мать специально выделяла ему четыре грядки. Собственно, и дружба-то их началась с того, что Витька показал Толику огурец в бутылке.

«Огурец здоровый, горлышко узкое. Слабо тебе так?» — сказал тогда Витька. «Слабо», — согласился Толик.

Этой капитуляции Витьке оказалось достаточно, и он не только объяснил, как надо сделать, но и подарил бутылку с огурцом Толику.

Потом были арбузы величиной с кулак, но красные и сладкие, были дыни тех же размеров, было даже дерево, на одной ветке которого должны были расти яблоки, на второй груши, на третьей сливы, на четвертой еще что-то. А на другое лето Толик узнал, что дерево вымерзло. Витька плакал, когда рассказывал об этом.

В прошлые каникулы Витькиной мечтой было вырастить виноград. Он даже план наметил, как все устроить. В старой рассохшейся кадушке, которая стояла у них на застекленной веранде, он собирался поместить лозу. Когда она достигла бы нужных, самостоятельных размеров, выпустить побег на улицу.

«Главное — корни в тепле!»

Виноградные косточки в кадушку они сажали с Толиком вместе. — Я просчитался, — сказал Витька, когда они увиделись в это лето. — Виноград ведь на улице вызревать не будет. Завяжется, а тут заморозки. Придется на веранде лозу оставить, как бы в теплице. Не решил пока, как опылять буду. Улей поставить — мать из дому выгонит, если пчела ее цапнет. Мать у меня всякой живности боится. Но не малевать же кисточкой каждый цветок. Руки отсохнут.

За зиму Витька вытянулся, стал выше Толика. Пропала его неуклюжесть, рельефнее сделалась мускулатура. И уже никто из сверстников не смел называть его по старой памяти Жиртрестом, а звали только Витькой или на худой конец Лохом.

Витька и сам чувствовал, что с ним произошли изменения. Держаться он стал степеннее, по пустякам не спорил, отмалчивался, чтобы потом несколькими фразами осадить собеседника. А если ему удавалось нащупать чью-либо слабость, то уж пощады не было. На это он и раньше был мастак.

Толика Витька встретил осторожно. Правда, в этот раз меряться силами не предложил, видимо, решил заранее, что возьмет верх.

Но Толик заметил в нем и другие перемены. Витька больше стал интересоваться какими-то скучными вопросами: что и сколько стоит? Какая у кого зарплата? Сколько Толику дают в день карманных денег?..

А когда он спросил, какие деньги в городе платят, чтобы в техникум без экзаменов попасть, Толик и вовсе

растерялся.

Они шли по голосистой утренней улице. Впереди местный пастух дед Гармыл щелкал длинным кнутом, собирая стадо. Хозяйки выводили коров, и те вприпрыжку, озираясь на Гармыла, обгоняли друг друга, стараясь затесаться в середину. Розовая пыль клубилась из-под копыт.

Сам дед семенил бодренько, попыхивая папироской, поигрывал кнутовищем. Толик помнил, что Гармылом его прозвали в деревне за то, что он картавил при разговоре.

Витька зевал, чесал растопыренной пятерней всклокоченные сивые волосы и плевался на ходу. Шел он громадными шагами, разбрасывая дорожные камешки, и Толик едва поспевал за ним.

— В пятницу на той неделе получка, — сообщил Витька, обернувшись к Толику. — В Воронеж поеду на выходные... Давай на пару? Гитару куплю... Сапоги нужны... Платок матери...

Толик кивал, соглашаясь, а сам думал, что вот они с Витькой ровесники, а он и не знает, как с деньгами обойтись. Ну, мороженого купить можно, конфет там, ситро бутылку; ну, бабушке чего-нибудь... Или линзы запасные для телескопа... Но денег-то много будет. Это не школьные двадцать копеек на завтрак. Получка! А Витька знает. Он вообще к жизни по-другому стал подходить. Практичнее, что ли? В общем, по-взрослому как-то.

— Здоров, дед Гармыл! — крикнул Витька, нагнав пастуха. Толик кивнул:

— Здравствуйте.

Дед прищурился, снял картуз, обнажив конопатую лысину, похожую на воробьиное яйцо.

— Здраствуйте, молодые люди!.. А ты чей будешь? — обратился он к Толику. — Никак Петговнин унук?..

— Петговнин и будет, — передразнил Витька, похлопав Толика по плечу. — Толик это...

— А-а-а? — Дед удивленно выпучил глаза. — Ды большой вымахал! Ба-а-аюшки!.. Не пгизнал... Быть тебе богатым, ей-богу! Надолго, значит, погостить?

— Пока не прогонят, — ответил Витька за Толика.

— Куды гнать-та? Пушай живет... — заключил дед. — Гыть, стегва! — замахнулся он на приотставшую корову. — Я те, ленивая!

Корова шаркнулась в гущу стада. Гармылов кнут щелкнул у нее над головой.

Когда обогнали стадо, Витька спросил, хитро улыбаясь:

— Натаха-то ничего? Мягкая?

— Как? — не понял Толик.

— Гы!.. — Витька обрадовался его замешательству. — На ощуп... Не пробовал, что ль?

Толик покраснел. Ему и в голову не приходило, что Наташа может быть в его жизни еще кем-то кроме напарницы по вагонетке, открыться с другой, неведомой и стыдной стороны. Толик сразу вспомнил ее голос, мягкий, грудной, вспомнил залиvistый смех ее, нос, вздернутый кончиком вверх, всегда узенькие в улыбке карие глаза. Да нет же! Напарница — и все тут.

— А ты не трусь, — наклонился Витька. — Она девка покладистая. И углов темных много...

— Ты о чем? — притворился Толик, краснея еще больше.

— Нравится баба — работать надо! Они сами не начинают. О чем... О чем... — Витька подмигнул. — Вон как зарумянился! А?

— Пошел ты!..

— Не швыряйся друзьями-то! Думаешь, не знаю, зачем ты каждую ночь на крыше сидишь? Астроно-омия... Гастроно-омия...

Толик посмотрел на него исподлобья.

— Со скуки! — продолжил Витька. — Что, нет? Со скуки и есть. Подруга тебе нужна. Понял? А Натаха — подруга что надо!..

— Вот еще советчик! — Толик опустил голову.

— Ему по-хорошему... — сплюнул Витька сквозь зубы. — Антилигент заморенный! Я ж гляжу, она все о тебя трется...

Толик подумал, что ничего такого не было. Витька сам выдумал. Что Наташе в нем? Эка невидаль!..

— Завтра выходной, — не унимался Витька. — На речку едем с ночевкой. Совхоз машину дает. Ты там не теряйся с Цыганкой-то, с Натахой... Ты городской! Язык длинный. Лапши ей на уши навешай, а сам действуй. Ля-ля-ля... Про звезды, про луну... Бинобль свой захвати. Заодно и нам объяснишь-покажешь, что к чему. Насчет бога, например... А то до Натахи охотников много. Не упустит.

Толику противно стало слушать Витьку, и он ускорил шаг. «Не теряйся... Действуй!» — зудели в ушах Витькины наставления.

Но тут же Толика взяли сомнения: а вдруг так и надо? Витьке виднее. Он вон какой вымахал. Прямо мужик взрослый. Только не обязательно поступать, как он советует. Например, пригласить Наташу потанцевать сегодня в клубе. Или завтра, если действительно на речку поедут все, набрать лилий, кувшинок и подарить ей. Витьке бы всё углы да закоулки. Или звезды показать... Хотя это, пожалуй, отпадает: чердак, ночь, она мышшей, наверное, боится...

День отработали, как и прежде. Правда, Толик все время приглядывался к Наташе. Волей-неволей он уже смотрел на нее другими глазами, как-то даже и не своими. Может быть, Витькиными? Впрочем, и не Витькиными. Кто знает?

Он почти не устал, когда кусок ржавого рельса, подвешенный на проволоке, пропел обед. Впервые за все дни работы по-настоящему захотелось есть.

— Баста! — остановил Витька машину.

Все расселись в ближайшей сушилке на кирпичах. Кто внизу, кто вверху. На свет полезли сетки, газетные свертки, клетчатые платки, черные хозяйственные сумки из сыромятной свиной кожи.

Толик достал из авоськи бутылку с молоком, помидоры, яйца, потрескавшиеся по дороге, баночку с солью,

нарезанный хлеб, сало и все это хозяйство разложил перед собой на газете.

— Угощайся, — предложил он Наташе.

Та отказалась, потому что у нее было с собой почти то же самое.

— Гляньте, робя, Толян и тут возле Натахи пригрелся. Во сработались! — крикнул Витька со своего возвышения. Он устроился почти под крышей сушилки на куче ломаных и мятых кирпичей, подсунув под себя для удобства ворох желтой гороховой ботвы.

Все рассмеялись, и Наташа тоже. Толик почувствовал, что краснеет.

— Ого! — загоготал Витька. — Разгорается! Значит, в точку попал...

— Кому какая разница?.. — промямлил Толик, краснея еще больше.

Он всегда терялся, когда приходилось встречаться с открытым хамством. Отец учил давать сдачи, но не лезть же сейчас в драку, И хамством ответить Толик не умел. Оставалось молчать.

Снова все засмеялись. Лишь шофер Сенька, сидевший неподалеку от Толика, не обращал внимания на Витькины слова. Он деловито, медленно жевал. Кадык его при каждом глотке поднимался и вновь опускался и щеки, заросшие рыжей щетиной, то раздувались, то опадали. Казалось, Сенька случайно попал в компанию этой мелюзги И он старательно подчеркивал эту случайность. Болтайте, мол, копошитесь там... Мне бы заботы ваши цыплячи...

Витька не отставал:

— Ды кто вас разберет, что вы в сушилке акромья разгрузки делаете...

Толик с ненавистью посмотрел на него: «Друг называется! Агроном чертов!»

Ребята задымили папиросами.

— Серега, все матери скажу! — крикнула Нинка, Сережкина сестра.

Нинка училась в городе на парикмахершу и домой приехала на каникулы. Она была ненамного старше брата и тоже курила, только втайне ото всех. Толик случайно видел ее с сигаретой в зубах, когда как-то невзначай забрел в дальний угол клубного парка. Он удивился Нинкиному лицемерию.

— Небось на свои покупаю! — огрызнулся конопатый Сережка, затягиваясь дымом.

— Кому говорю, брось эту заразу!

— На-ка! Видала! — Сережка показал сестре кукиш. — Толян, угощайся.

— Я не курю...

— Пора бы... — снова встрял Витька. — Гляди, Натаха бросит. А ты надорвешься один с вагонеткой. Правда, Наташ? Ты ж настоящих мужиков уважаешь?

Сенька хмыкнул и, мельком посмотрев на Толика, принялся длинным грязным ногтем мизинца ковыряться в зубах. Остальные ногти у него на пальцах были подстрижены, а этот, видимо, нарочно был отпущен для послеобеденных процедур.

— Если себя имеешь в виду, так тебе, Лох, до мужика, как до Урала на лыжах. Чего к парню привязался? Прямо репей сухой! Язык чешется? Кирпичом потри — перестанет, — сказала Наташа и вышла на улицу.

Толик хотел было пойти за ней, сказать, что зря она обижается, что Витьку уже не переделать, что вообще-то он неплохой парень, только вот любит поехидничать, но не пошел и не сказал, потому что сам не верил в Витьку, даже ненавидел его в эту минуту и боялся новых приставаний.

Сенька встал, выковыривая перочинным ножом остатки пищи из-под ногтя, потом вынул пачку папирос из кармана замусоленных, блестящих на заднице штанов и остановился в задумчивости. Было что-то в его фигуре, в движениях, во взгляде томное, ленивое, и лицо выражало пресыщенность и разочарованность в жизни. И Толик подумал, что, будь он таким, как Сенька, взрослым и уверенным в себе, Витька не посмел бы и слова лишнего сказать.

— Лох... — устало и безразлично проговорил Сенька. К Витьке он стоял спиной и смотрел в сторону ворот сушилки, в которые вышла Наташа. — Ты вот что... Ты сбегай... Да? — Сенька порылся в кармане и извлек мятую, замызганную трешку. — На. Яблочную не бери. Шепни Аньке-продавщице, что от меня. Понял? Она тебе белой чекушку отпустит.

Витька спустился, громыхая кирпичами, взял деньги, сказал неуверенно:

— Я в волейбол хотел... Может, сам сходишь?..

— На сдачу конфет пусть взвесит, — закурил Сенька папиросу. — Ну?

— Щас... — понурился Витька. — Доем только...

— Ага. — Сенька вышел на улицу.

Витька залез на свое место под потолком, заворчал оттуда:

— Вечно он — Лох да Лох... Как что, сразу в магазин. У самого ноги отсохли... Конечно.

Толик пожевал сала, молока отхлебнул, но есть уже расхотелось. И хотя он не был злорадным, где-то в глубине души приятно было, что Сенька осадил Витьку, чего сам Толик сделать не смог. Он разозлился на себя за нерешительность и трусость, за постоянное желание все примирить и сгладить, за неспособность постоять за себя; но тут же подумал, что объяснится с Наташей вечером, на танцах, а Витька и так ничего не поймет.

Танцплощадка была освещена фонарями, а остальное пространство парка тонуло в синих сумерках вечера. Поодаль белело здание клуба, который в Борино называли Дворцом культуры. Из серебристых, похожих на колокола динамиков гремела музыка, но никто не выходил в ослепительный круг танцплощадки. Девушки и парни стояли за деревянным штакетником ограды, будто и не собирались танцевать, а просто пришли поговорить и посмеяться. Пол на площадке недавно, видимо, перестелили, поэтому кое-где по краям он еще не был затоптан, сиял нетронутостью своей и источал резкий сосновый аромат.

Толик пришел один, хотя Витька Лохов и заходил за ним. Толик нарочно задержался дома: уж больно надоел ему за день Витька со своими глупым'и шутками и издевками, с постоянно оскаленной физиономией и дурацкой привычкой лезть ко всем в душу. Их прежняя дружба казалась теперь далекой и невозвратимой. Было жаль, что они

так неожиданно перестали понимать друг друга. Толик все приписывал Витькиному повзрослению. Ведь еще прошлым летом Толик говорил о звездах, сидя с Витькой на завалинке и глядя в ночное небо, говорил о космическом разуме, о другой, неведомой и зовущей жизни, и оба они замирали от ощущения бесконечности пространства, грустили от сознания своего бессилия перед ним, радовались, что все у них впереди. На душе было печально и тревожно, и будущее представлялось им светлым и скорым праздником. А теперь? Неужели не вернуть этого?

Толик прошел по темной аллее в глубине парка. Какие-то парни пили вино прямо из горлышка, передавая бутылку из рук в руки.

— Толян? — услышал Толик голос Сережки. — Давай к нам причаливай...

Толик подошел.

Кроме Сережки, никого из ребят он не знал, но со всеми поздоровался за руку. Пока Сережка пьяненьким петушиным голосом разъяснял, кто такой Толик, откуда и к кому приехал, появился Витька. Пиджак его топорщился, и из карманов высовывались горлышки бутылок.

— Ты здесь? — кивнул он Толику. — На, глотни для смелости. Толик сказал, что не будет, потому что не умеет пить.

Ребята загалдели:

— Обижаетесь...

— Чего там уметь-то?..

— Не ломайтесь!..

Толик сделал несколько глотков и поперхнулся. Вино было сладкое до тошноты и отдавало гнилыми яблоками. Кто-то сунул кусок черного хлеба. Толик, откашлявшись, пожевал его.

Витька залихватски раскрутил бутылку и сунул горлышко в рот. Жидкость заурчала у него в глотке, как вода в раковине. Толик будто снова ощутил приторный вкус вина и поморщился.

Ребята торопливо опорожнили остальные бутылки и гурьбой направились к танцплощадке.

— Натаха-то тут, — положил Витька руку Толику на плечо. — Я видел. А Сенька уже в стельку. Пузыри дома пускает. Ты давай... Там в углу беседка есть. Веди... Место проверенное. И не думай, Цыганка не так, чтобы с каждым встречным-поперечным... А-а-а!! Не поймешь!

Толик промолчал. Он уже почувствовал опьянение, и почему-то захотелось спать. Мысли стали отрывочными, вялыми, и было такое ощущение, словно он видит себя со стороны. Толик подумал, что так и надо, наверное, сделать: привести Наташу в беседку, а сначала потанцевать пригласить... Да, сначала потанцевать. Потом — беседка... Что делать в беседке, Толик не знал, но тут же забыл об этом. Беседка, значит, беседка...

— Приветик, Толик! — Наташа стояла совсем рядом.

И танцплощадка была рядом. И вообще все свершалось само собой, стоило только подумать.

— Добрый вечер, — сказал Толик.

— Потанцуем?

Толик лишь сейчас разглядел, как изменилась Наташа. Она подросла, взбравшись на высокие каблуки, построилась, сменив свободный, перепачканный глиной рабочий халат на ладное, в талию, пестрое платье. В мочках ушей искрились сережки. Да и прическа была какой-то взрослой. Толик вспомнил, что Наташа на два года старше его; и от этого, от запаха духов, исходившего от нее, от легкой ее улыбки, от того, как она неестественно прямо стояла перед ним, Наташа сделалась недоступной и таинственной, как витринный манекен в центральном городском универмаге.

— Я не умею, наверное, танцевать... — пробормотал Толик, робея.

Наташа засмеялась. Но теперь смех ее звучал совсем иначе. Он звал за собой, манил и в то же время сдерживал. Толик окончательно растерялся. Она сказала:

— Бери меня под руку.

Толик послушно тронул ватной рукой своей Наташин локоть.

А потом они танцевали, и кроме них на площадке была лишь одна пара, и Толик изо всех сил старался не наступить Наташе на ноги и чувствовал, что все, кто был в парке, смотрят и смеются над его неуклюжестью.

Из динамиков неслись, оглушая, глупые слова песни: «Часто мне вспоминается-я-я ма-аленькая ста-анция-я... Тополе-ек и акация-я-я...»

Толик слышал и не слышал их, а стекляшки сережек в мочках ее ушей радужно вспыхивали и гасли.

— Вот и научился капельку, — улыбнулась Наташа, когда они выходили с танцплощадки. — Погуляем?

Толик кивнул. Он все еще держал ее локоть, но, заметив это, опустил руку. А вокруг было темно и беспокойно. Кто-то сидел в одиночестве на скамейке и брэнчал на гитаре. Лица не разобрать было в темноте. А не все ли равно? Просто сидит человек, и ему хорошо. Толик захотел сказать об этом Наташе, но не нашел подходящих слов, промолчал. И зачем он только пил это вино? Дрянь ведь, дурь одна! И сам он как дурак теперь... За спиной гремела музыка с танцплощадки. И как-то незаметно они очутились у беседки, о которой говорил Витька. Толик сразу понял, что это та самая, и ему противно сделалось оттого, что вот сейчас они зайдут в нее. Но тут же стало ясно, что дело не в беседке, а в том, что живет на свете этот Витька Лохов, бывший товарищ, во всем бывший.

— Посидим? — спросила Наташа.

Они зашли под дырявую крышу и сели. А Толик все молчал, и Наташа молчала.

Кто-то свистнул за близкими кустами, и было видно в прогалы между ветками, как раскуривают папиросу.

Крыша беседки светилась звездами, поэтому походила на купол городского планетария: Альтаир, Вега, Антарес, созвездия Орла, Лиры, Скорпиона... Толик не любил планетарий, потому что звезды там были настоящие.

Больше молчать было неприлично.

— Представляешь?.. — сказал Толик, не зная, о чем станет говорить дальше.

Голос был чужой, хриплый. Толик откашлялся.

— Что? — повернулась к нему Наташа.

— Пятьдесят тысяч лет назад созвездие Большой Медведицы выглядело не так. Оно тогда напоминало жирафа. Древние люди, наверное, так и называли его: созвездие Большого Жирафа.

— Ты о чем? — спросила Наташа шепотом.

— Видишь ковш? Вон. Семь звезд. Это самые яркие звезды созвездия Большой Медведицы. Звезды движутся, живут, поэтому через тысячи лет ковш не станет, а сложится что-то другое. И новые люди будут жить под новыми созвездиями. Вот бы хоть краешком глаза взглянуть на небо через пятьдесят, нет — через сто тысяч лет! Все будет иначе. Я мечтаю сделать карту будущих созвездий. Другой такой возможности заглянуть в завтра нет. А карту можно рассчитать сейчас, потому что направление и скорость движения звезд относительно Земли известны.

— Ну и что? — заерзала Наташа на лавке.

— Интересно!

— Наверное... — Наташа посмотрела вверх.

— Знаешь, как началась Вселенная? Нет, этого, конечно, никто не знает. И вообще, считается, что она не начиналась, а вечно была. Спорят лишь, навечно ли она останется или умрет. Ну, скажем, от тепловой смерти или от равномерного распределения тепла, когда наступит абсолютный покой... Это скучно. И нечего спорить. Но если говорят о смерти, почему бы не сочинить и рождение? Мне кажется, все началось с темноты. Представь: темное и пустое кругом. И никого нет, даже тебя самой. С этого и началось! Потом темноте стало плохо быть одинокой, самой по себе, так как никто не мог сказать ей, какая она есть. Это же каждому интересно, какой он. Правда? Темнота не знала даже себя в своем одиночестве. Ведь чтобы узнать, какой ты, нужно, чтоб кто-то еще был рядом. И вот темнота очень-очень захотела, и появился свет. Сначала маленькая тлеющая точка величиной с игольное ушко. Но темнота была огромная, везде и хотела узнать себя целиком. Тогда она разбросала по всему своему пространству большие и маленькие точки света. Так темнота узнала, какая она есть на самом деле, узнала в целом и успокоилась. А звезды остались...

Наташа прыснула в ладошку, не выдержала и засмеялась.

Толик замолчал растерянно.

— Может, и ты здесь для того, чтобы я узнала себя?.. В темноте?.. — выпалила Наташа и снова залилась смехом.

Толик подумал, что Наташа не поняла чего-то или просто ей было скучно, пока он фантазировал, и решил рассказать что-нибудь веселое. Конечно! А то заладил: Большая Медведица, Вселенная, завтрашние тысячелетия... Как по радио!..

— Вызывают к доске одну мою одноклассницу. Была география. Ну, наша Лизавета Глобусовна и говорит: «Расскажите нам о Кампучии». Она со всеми так, на «вы». Старенькая уже учительница... А эта девчонка берет указку, тычет в карту и начинает отвечать: «Столица Кампучии — город Пеньпнём...» Что было!.. Лично я к концу урока из-под парты вылезти смог. Смеялся!..

— Над чем? — спросила Наташа.

— Так ведь столица Кампучии — Пномпень! А она — Пень-пнём... — засмеялся Толик.

— А-а-а... — Наташа и не улыбнулась. — Она красивая?

— Кто?

— Одноклассница твоя?

— Верка-то? Не знаю... Мы ее с ребятами Покляпой зовем...

— Ну и дураки! — Наташа встала. — Так нельзя с девочкой! Она быстро вышла из беседки и направилась по темной аллее к воротам парка.

Толик остался сидеть на лавке. Ему было непонятно и стыдно и ничего не хотелось, только бы о нем забыли и Наташа, и Витька, и Сережка с компанией.

Музыка уже кончилась. Погас круг танцплощадки.

— Тополе-ек и ака-ация-я-я на-а ветру качаются-я-я... — пел парень с гитарой, которого Толик видел, когда они шли в эту проклятую беседку.

3

Утром его разбудили гудки машины и крики:

— То-лик! То-лик!

Прямо под окнами стоял Сенькин самосвал, а ребята кричали из кузова.

— Сейчас! — высунулся Толик из-за занавесок.

Он стал одеваться, вспомнил вчерашнее и уж было решил не ехать, но передумал: «Мало ли что... Лето ведь... Исккупаться надо».

Кузов был украшен березовыми ветками. От борта к борту положены были свежеструганные доски, на которых и сидели ребята.

Сережа протянул руку, помогая Толику забраться. Утро пахло бензином, сосновой смолой и березовыми листьями. Наташа отвернулась, когда Толик здоровался со всеми.

— Опять ночью на крыше сидел? — усмехнулся Витька, подавая Толику руку. — Орем тут тебя, сигналим... А он дрыхнет! Сенька небось мозоля набил о баранку, пока тебя будили.

Машина тронулась.

Толик сидел между Витькой и Сережкой, обхватив руками старую дедовскую фуфайку и телескоп в футляре. Рюкзак лежал на полу. Ветер трепал березовые листья, путался в волосах, парусом надувал рубахи и платье.

Когда выезжали из села в поле, Наташа спросила вдруг:

— Толечка, разрешение спросил у бабки Петровны? А то, может, вернемся?

Ребята засмеялись. Толик промолчал.

Река Воронеж — чистая река. Если малость отплыть от берега, можно даже воду пить. Местные жители — Толик сам видел — за водой на реку ходят.

И никаких колодцев в деревне Коммуна не видать.

На берегу плешивые островки вытоптанной травы окружены были желто-серым песчаным морем. Оно незаметно переходило в реку, и, только когда проплывала моторка, зеленые волны накатывались и впитывались в сухой песок, точно поили больного.

Толик вслед за всеми зашел в воду и поплыл. Свет солнца дробился на мелкой водной ряби, переливался слепящей чешуей. У берега вода была спокойна, зато чуть подальше Толик почувствовал упругую силу речного течения.

Внизу, в черной глубине, плавно шевелились, стлались, повинувшись движению воды, щупальца водорослей. Они тоже казались черными, но иногда скупо мерцали глянцевой поверхностью своей, отражая матово-зеленый глубинный свет.

Толик вернулся на берег, вытерся полотенцем и растянулся на песке. Слышно было, как ребята играли в футбол.

— Толян, — позвал Сережка. — Становись в ворота.

— Неохота... — отмахнулся Толик и снова опустил голову на руки.

Песок был горячим и ярким и, казалось, тяжело дышал сухим зноем.

Наташа куда-то исчезла, и Толик чувствовал, что ему от этого легче. И все-таки он жалел, что поехал. Что-то мешало, как прежде, вместе со всеми гонять мяч по берегу, радоваться голу, спорить о правилах игры. Толик ощущал какую-то скованность и угнетенность, идущие изнутри его, точно он напроказничал, а теперь ждал и боялся наказания.

Телескопа не было нигде.

Толик порылся в складках фуфайки, в тощем рюкзаке, огляделся со слабой надеждой по сторонам и сел на песок. Не стало ни реки, ни солнца, отдалились, затихли голоса ребят. Была только обида. Слезы навернулись на глаза.

Толик не помнил, сколько просидел так, тихо скуля и смахивая капли слез с подбородка. Он осмотрелся. Среди играющих не было Витьки.

Толик оделся и пошел вдоль берега, мимо полузатопленных, зятянутых песком лодок, мимо рыбаков со стругаными ореховыми удилищами, мимо камышовых зарослей, туда, где река расходилась на два рукава, образуя остров. И захотелось, чтобы кто-нибудь, пусть тот же Сережка, догнал его, взял за руку, спросил бы, в чем дело, вернул бы туда, ко всем, где весело и неодинокое, или хотя бы пошел рядом. Но никто не заметил его исчезновения, и от этого сделалось еще грустнее.

Витька сидел в кустах у самого края обрыва, и видна была его сивая макушка; широкая мускулистая спина застыла неподвижно, а руки были подняты и сведены где-то впереди, словно он молился. Толик заметил его неожиданно, скорее почувствовал, чем заметил. Так чувствуют опасность. Толик вздрогнул и остановился.

Витька не двигался.

— Ты ч-чего так? — переведа дух, спросил Толик.

Витька обернулся, пряча что-то за спину, пристально посмотрел на Толика, и страх промелькнул в его глазах. Толик сглотнул слюну.

— За биноклем небось пришел? — с деланным безразличием потянулся всем телом Витька. — Ня бойсь... Цел! Чего ему будет?..

Толик подошел к нему. Телескоп лежал на траве. Тут же валялся раскрытый футляр. Внизу под обрывом зеленела река, и видна была узкая полоска берега у подножия.

— А чего? — с нагловатой стыдливостью ухмыльнулся Витька и кивнул вниз. — Девки там отжимаются... Ну и я... В камышах. Глянь сам, — протянул он Толику телескоп. — Гы!.. Впечатляет...

— Ты бы спросил... — пролепетал Толик, еще не понимая смысла Витькиных слов. — Я волновался...

Витька встал с земли.

— Подумаешь! Бинокля ему жалко! Я таких три штуки с получки куплю...

Толик все понял: и про кусты, и про девок, и про то, почему испугался поначалу Витька...

— Ты г-гад! Ты!.. — Толик пошел на него, сжав кулаки. Витька резким, сильным ударом в грудь сбил Толика с ног.

— Цыц, бабушкин кочет! — сплюнул он в траву. — Ноги выдерну! А болтать станешь... Понял?! Куда там, правильный нашелся! Мне еще лекции почитай о небесах и ангелах! Не знаешь сам, что с бабой делать, — другим не мешай. Пеньпнём! Хлюпик! Биноклей понавез, слов умных нахватался... А он — на, погляди — ее на остров повез. Что твой бинокль? Тут ружье нужно. Тебе-то что: приехал — уехал. Это мы тутошние. Нам звезд не хватать, нам бы попроще чего... Шины проколоть, морду набить... Я-то думал, он и взаправду ученый, поможет! На, гляди теперь гастрономию свою. Уплыла звезда-то, на острове теперь догорает... Гляди не гляди!.. Вот тебе твои стекляшки!..

Витька замахнулся и швырнул телескоп в реку. Где-то далеко раздался всплеск, будто рыбина саданула хвостом. Когда Толик вскочил на ноги, только круги расходились по поверхности воды.

— Ой! — Витька обхватил голову руками. — Толик! Толечка!.. Но Толик ничего уже не слышал. Он шагнул к краю обрыва и прыгнул вниз.

Сырой песок упруго принял стремительную тяжесть тела, руки по локти ушли в воду. Толик медленно выпрямился. Покалывало ступни и гудело в ушах.

Круги по воде уже разошлись, сгладились. От солнечных бликов зарябило в глазах.

На душе стало пусто и безразлично.

Толик тихо побрел вдоль берега под обрывом. Мокрый песок скрипел, податливо вдавливался подошвами. Навстречу, посредине реки шла моторка с задранным, шлепающим по воде носом. Она была натружена сеном, и космы этого сена свешивались за борт, волочились за лодкой, отрывались и, распластавшись по поверхности, покорно качались на волне. Мужик в серой фуфайке и картузе сидел на корме, зарывшись в сено, и курил.

Толик проводил лодку глазами, зашел в камыши по песчаной косе и сел у самой воды. До берега докатывались первые волны, поднятые моторкой, и все захлюпало, забилося, зашелестело. Ноги обдало водой.

Толик подумал, что неплохо бы переплыть с тем мужиком реку, выйти на острове и остаться там навсегда; неплохо бы жить там одному, построить шалаш или вырыть землянку и жить; вставать до рассвета, пить речную воду, пахнущую тиной и глубиной, грибы собирать, землянику, а по ночам лежать на спине, смотреть на небо, просто так, без телескопа, и думать о другой, будущей жизни под незнакомым небом с новыми созвездиями, думать о людях, которые никогда не увидят ни Южной Рыбы, ни Близнецов, ни Девы, а потом состариться и умереть. Но о смерти не хотелось думать, и вообще она представлялась Толику обыкновенной темнотой, которая была еще до рождения Вселенной, как в бабушкином погребке. Это было неинтересно.

Послышались всплески воды, зашелестели камыши. К берегу причаливала лодка, но Толик не видел, а лишь слышал ее. Что-то тяжелое плюхнулось в воду.

— Черт! — Толик узнал голос Сеньки-шофера. — Настругали этих плоскодонок! Того и гляди, перевернешься!..

Он уже хотел подняться и уйти, чтобы не отвечать на Сенькины расспросы, почему да зачем он тут, но вдруг услышал голос Наташи:

— Подумаешь, весло уронил!.. Сень, а ты не врешь?

— Чего?

— Про любовь...

— Хы! Да ну тебя...

— Я так...

Они замолчали и долго ворочались, треща камышами и шурша одеждой. До Толика докатывались крошечные волны, возникавшие, наверное, от покачивания лодки. Он и не хотел больше оставаться в своем невольном укрытии, и не знал, как уйти, боясь нашуметь и выдать себя.

— Сень, как хорошо с тобой!.. — сказала Наташа ласково. — Ты не пей только, не пей... Хватит!..

Толик вздрогнул.

— Поцелуй меня, Сень! Еще...

Снова послышалась возня, и Толик, не в силах больше скрываться, бросился прочь, спотыкаясь, увязая в песке и ломая камыши.

До деревни, где жила бабушка, было километров восемь. Толик пошел пешком. Ему страшно было видеть кого-нибудь из ребят после всего случившегося. Теперь день этот, начиная с утра, представлялся ему жутким, кошмарным сном: и купание в реке, и Витькино подглядывание, и гибель телескопа, и нечаянное подслушивание в камышах. Лишь остров, который он придумал и на котором хотел жить до старости, оставался последней надеждой. Но Толик понимал, что надежда эта не сбудется.

Он шел по дороге и не замечал ничего кругом. Только бы скорее попасть домой, сложить вещи и — в город, чтобы там забыть вчерашний вечер, Витьку, этот проклятый завод, реку, Сеньку с его самосвалом...

Бабушки дома не было. В дверях торчала записка:

«Пошла с бабами ягоду брать сварю варенье матери свезешь приду затемно ешь молоко у кладовке яйца свари картох чугунок на плите баба Катя».

И как ни странно, это письмо — сбивчивые, похожие на детские каракули — подействовало на Толика успокаивающе. Было там что-то степенное, вечное в своей простоте и повторяемости, всем понятное и близкое.

«Ягоду брать... — твердил он про себя, открывая дверь. — С бабами... Приду затемно...»

Толик прошел в комнату, не раздеваясь лег на кровать и не заметил, как заснул.

4

Бабушка разбудила его:

— Ай сморило на солнце?

Толик вышел на кухню, шурясь от яркого света лампочки, протер глаза, сел на табуретку возле стола.

— Два ведра пошти взяла, — говорила бабушка, пересыпая землянику из лукошек на газету, постланную на полу. — Ягоды — бери не хочу. Больше позатоптали. Да нагибаться — поясицу ломит. Нюрка Ильинова помоложе, дак три ведра унесла. Через плечо...

Толик зевнул, нагнулся, зачерпнул из большой кучи на полу пригоршню земляники, попробовал.

— Сладкая!

— Погода сухая. Тот год дожди шли, дак она кислая была. Нонче самая ягода! Ох, уморилась...

Бабушка села. .

В окно постучали. Приставив ладонь козырьком, бабушка приникла к стеклу.

— Товарищи твои тебя кличут.

Толик взял горсть земляники и направился к двери.

— Гляди долго не гуляй на ночь-то... — сказала бабушка вслед.

На крыльце Толик споткнулся о свой рюкзак и фуфайку. Земляника посыпалась по порожкам.

— Толян... — Сережка подходил как-то боком, и тень его скачками двигалась по редкому штaketнику бабушкиного палисадника. — Мы с Витькой тут принесли... Вещи. Он там, — Сережка кивнул в сторону, — за калиткой. Он просит... Ну, ты прости его... Да? С кем не бывает? Ты же давно его знаешь...

Толик сошел с крыльца и сел на завалинку. Сережка опустился рядом.

— А за биноклем мы ныряли. По очереди... Там глубоко. Не достать.

У Сережки было такое виноватое выражение лица, веснушки сжались до едва заметных крапинок, словно в испуге. Толику захотелось обнять его и успокоить.

— Так вы пешком? — спросил Толик. Сережка кивнул.

— Витька зилку Сенькиному скаты пропорол за Наташку. — Сережка перешел на шепот. — Он ведь давно в Цыганку-то... А она и ухом не ведет. Тут Сенька. Так Витьке лучше было, чтоб ты с ней... Чтоб Сеньке не обломилось. А-а-а... С девками всегда маета. Слышал, может: зимой один зареченский нашего Яшку Зуева чуть насмерть не пришиб в клубе из-за моей Нинки. Сидит теперь...

Неслышно подошел Витька.

Толик встал.

— Зеркало вынеси, Толян, — виновато буркнул Витька.

В свете из окошка Толик разглядел его лицо: заплыл левый глаз, и верхнюю губу разнесло, как от осинового укуса, а на подбородке запеклась коркой коричневая, неестественно темная кровь. Витька сел на завалинку и подпер голову руками.

Толик принес настольное зеркало, пузырек «Тройного» одеколona — дед раньше все царапины и ссадины им промывал, — нераспечатанный пакет бинта, ваты, перекись водорода, йод. Снаряжая в дорогу, мама сунула ему в рюкзак аптечку.

— Я боюсь крови, — отвернулся Сережка. — В глазах у меня от нее темнеет.

Витька вдоволь насмотрелся на свое побитое лицо, пощупал глаз, вывернул осторожно губу, стараясь заглянуть с другой стороны, поморщился, провел пальцами по подбородку.

— Серега, — оторвался он наконец от зеркала, — я ему ничего влепил?

— Ты монтировку у него здорово вышиб. Он замахнулся... Ну, думаю!.. А ты — раз!.. Готово! После — я сам видел — Натаха нос ему примачивала косынкой, и под глазом фингал висел, как твой, такой же фиолетовый...

Витька сплюнул.

— Губа свербит... А так ничего, моргаю себе... Пускай других холуев поищет червивку с магазина таскать. Как что, сразу Лох да Лох... Нанялся я ему, что ли? И девок по деревне хватает. Жалко Цыганку...

Толик промыл раны перекисью водорода. Белая пена схватывалась на живом. Витька морщился, цыкал языком, сжимал кулаки и егзил по завалинке. Толик почти физически ощущал его боль, руки тряслись от напряжения и переживания, и лоб покрыла испарина. Поэтому, когда все было обработано, он с облегчением выдохнул, сел рядом с Витькой, сказал вяло:

— До свадьбы заживет...

— До чьей свадьбы? — мрачно усмехнулся Витька.

Бабушка выключила свет в кухне, и на улице сделалось совсем темно — лишь Сережкина рыжая макушка мерцала чуть различимо. Глаза привыкли. Отчетливее стали видны звезды, и Толик почувствовал усталость, такую же, как в первые дни работы на заводе, и вместе с тем какое-то внутреннее удовлетворение от того, что все уладилось и кончилось, и что-то свершилось новое и необычное, и можно было продолжать жить дальше. Но будущее представлялось неизвещнее и тревожнее из-за этого нового. Толик никак не мог уловить в себе случившегося, но и не сомневался, что что-то произошло, от чего дальнейшая его жизнь пойдет иначе.

Сережка закурил. Спокойное в безветрии пламя спички выхватило на несколько мгновений из тьмы его конопатое, доброе, бесхитростное лицо.

— Оставь на пару затяжек, — попросил Витька. — Башка гудит.

Толика потянуло в сон, но уходить домой не хотелось. Он боялся упустить, заспать разгадку того нового, витающего рядом, но никак не идущего в сердце. И было ощущение раздвоенности, точно душа отделена от тела, потеряна в черном пространстве ночи и кличет, ищет, натываясь в темноте на что-то, и не может вернуться.

Толик посмотрел на небо. Млечный Путь оседал холодной звездной пылью, будто по нему прогнали стадо коров. И он подумал, что все-таки звезды там, в своем бесконечном, угрюмом пространстве, в своей темноте, без него, а здесь вот есть Сережка, Витька, они с ним, рядом, слышно их дыхание, и видно, как то вспыхивает, то затухает красный глазок папиросы. А если он, Толик, попадет в беду, звезды не принесут за восемь километров его вещи, не сядут рядом и не скажут: «Прости!» Звезды будут сами по себе, будут двигаться с известной скоростью в известном направлении.

И Толик почувствовал, как вернулась душа, и чаще, чаще забилось сердце, аж заложило уши. И было такое ощущение, словно душа велика, не вмещается в его маленьком теле, выпирает, рвется наружу.

Толик почувствовал тепло в груди, в горле. Горело лицо. Ему захотелось всем рассказать свои мысли и чувства, но слов не находилось, и пересохло во рту. Он заплакал от разрывающей его, невысказанной радости, от ощущения близости ко всему, что окружало его, раньше незамечаемому, а теперь необходимому и единственному.

— Ну чего ты, Толян, чего? Ну как девка... А? — тряс его за плечо Сережка.

— Стекла мы в Воронеже в аптеке закажем, — говорил Витька. — Вот будет получка — и закажем. Ты скажи только какие...